



ДЖИН

18+

Андрей Эльф Эйра

<https://litres.ru/74657103>

SelfPub; 2026

Аннотация

Когда с неба пришла тьма, от деревни остались лишь угли. Выжили трое мальчишек. Орден, поклявшийся защищать людей от демонов, забрал их к себе, чтобы вырастить воинов света.

Их учили, что зло всегда приходит извне: с когтями, крыльями и огнём. Что паладин не сомневается. Что приказ важнее жалости.

Но чем старше они становились, тем больше видели: у света есть своя цена, и платят её не те, кто отдаёт приказы. А в глухих краях творится то, чего не объясняет ни одна молитва. Там демоны больше не жгут деревни. Там люди уходят к ним сами.

Трое друзей поклялись держаться вместе до конца. Только каждый из них по-своему понял, где этот конец и за что стоит сражаться.

Андрей Эльф Эйра

Пролог

Деревня называлась Тихая Заводь, и в ней было тихо.

Брат Гарт заметил это ещё с дороги, раньше, чем увидел крыши. Над деревней не было дыма. Осень, сырость, туман по низинам, вечер — а ни одна труба не курилась. И собаки не лаяли. На двадцать дворов не залаяла ни одна.

— Может, ушли, — сказал Ренн. Ему было девятнадцать, и он третий месяц носил белый плащ. — Мор. Или голод.

— Голодные не уходят разом, — сказал Гарт. — Голодные уходят по одному, и последних хоронят первые.

Тобиас, третий, ничего не сказал. Он вообще говорил мало. Он положил ладонь на рукоять.

Они въехали шагом.

Двери стояли открытыми. Все до единой. В сенях лежали опавшие листья, нанесённые ветром, — значит, открыты давно. На столах — миски. В одной Ренн увидел недоеденную кашу, застывшую, с ложкой, воткнутой стоймя. Кто-то сидел здесь, ел, потом встал и ушёл, не доев.

Крови не было. Ни капли. Ни сломанной мебели, ни следа когтей на косяке.

— Демоны? — спросил Ренн, и голос у него был тоньше, чем ему хотелось бы.

— Демоны не убирают за собой, — сказал Гарт.

На двери крайнего дома символ.

Перевернутая свеча — пламенем вниз. А под ней, ровным столбиком, мелкие значки, одинаковые, выведенные аккуратной рукой.

Гарт смотрел на них долго.

— Что это? — спросил Ренн.

— Символы, — сказал Тобиас. Это было первое, что он сказал за весь день.

Они пошли по улице. На каждой двери был символ, и на каждой — столбик. Двадцать дворов. Столько-то голов в каждом. Всё отмечено

Ренн засмеялся — коротко, нехорошо, сам испугавшись своего смеха.

— Двадцать два года, — сказал Гарт негромко, ни к кому. — Двадцать два года я режу их на порубежье. Видел порталы. Видел прорывы. Видел, что остаётся от деревни, когда в неё приходят демоны. — Он провёл пальцем у символа, не касаясь. — Они жгут. Они рвут. Они жрут. Они не умеют по-другому. Демоны не отмечают дома, Ренн.

— Значит, люди? Культ?

— Люди не пишут так ровно, — сказал Тобиас.

Тогда с холма пришло пение.

Над деревней, за выгоном, стояла часовенка — старая, с покосившейся звонницей. Пение шло оттуда. Ровное. На одной ноте. Множеством голосов разом — и ни в одном голосе не было дыхания. Ни вдоха, ни сбоя, ни хрипа. Оно не начиналось и не кончалось, оно просто шло, как идёт вода.

У Ренна свело зубы.

— Это молитва? — прошептал он.

Гарт молчал. Он слушал.

Они поднялись на холм пешком, ведя коней в поводу. Кони упирались. У самой часовни встали намертво, и пришлось бросить поводья.

Дверь была приоткрыта. Оттуда шёл тусклый свет и пение.

Гарт поднял руку, и над ладонью у него разгорелся бледный свет Хиомеды — ровный, привычный, сто раз виденный. Свет дрожал.

На двери часовни тоже был символ.

Перевернутая свеча. И под ней — три значка. Свежих. Символ ещё горел, будто его вывели только что, пока они шли по выгону.

Ренн смотрел на них и считал. Раз. Два. Три.

Он поднял глаза на Гарта, на Тобиаса. Три.

— Брат Гарт, — сказал он. — Нас...

Пение оборвалось.

Сразу. Посреди звука, будто всем разом перерезали горло. Стало так тихо, что Ренн слышал, как с символа на двери, медленно, срывается и падает одна красная капля.

А потом изнутри, из-за приоткрытой двери, ласковый, тёплый, совершенно спокойный голос сказал:

— Входите, братья. Вас уже ждали.

Глава 1 АРДЕН-РОВ

Деревню жгли не как крепость — как мусор. Без осады, без переговоров, без причины, которую потом можно было бы вписать в хронику. С неба сошла тьма и принялась за работу.

Работала она деловито. Не с яростью — с тем ровным, нечеловеческим усердием, с каким огонь берётся за солому: без злобы, без спешки, просто потому, что так устроено. Крыши вспыхивали одна за другой вдоль всей улицы, и пламя гудело низко, утробно, перекрывая и крики, и колокол, и треск рушащихся стропил. Воздух стал плотным от дыма и жара — им нельзя было дышать, только глотать, обжигаясь. Пахло горелой соломой, палёной шерстью и чем-то ещё, сладковатым и тяжёлым, чему ребёнок не знал названия, а взрослый знал бы и предпочёл не знать.

Йоан узнал мать по подолу.

Всё остальное огонь уже забрал — лицо, руки, то, чем она была вчера, когда шлёпнула его за вырезанную из ветки птицу, а потом, будто застыдившись, сунула ему горбушку с солью. Он ещё помнил тепло той горбушки в ладони. Помнил, как она отвернулась к печи, пряча лицо, чтобы он не увидел, что она уже не сердится. Теперь от всего этого остался подол — синий, с вытертой каймой, которую он знал наизусть, потому что не раз цеплялся за неё, когда был совсем малень-

ким. И одна босая ступня, неестественно белая на фоне углей.

Он стоял в трёх шагах и не мог подойти ближе, потому что подойти значило проверить, а проверять он не хотел. Пока он не подошёл — оставалась щель, в которую можно было втиснуть надежду: вдруг это не она, вдруг подол похожий, вдруг.

Жар выедал глаза. Они слезились, и Йоан был этому даже рад — потому что сами по себе слёзы не шли. Он не плакал. Он стоял, смотрел на белую ступню и чувствовал внутри не горе, а страшную, гулкую пустоту, как будто из него разом вынули что-то важное и на его место впустили сквозняк.

За спиной хрустнуло — угли, сапог. Йоан не обернулся. Ему было всё равно, кто это.

Это был Никиас.

Он подошёл и встал рядом, тяжело дыша, весь в саже, с рассечённой бровью, из которой на щёку тянулась тёмная дорожка. Он просто встал — чуть впереди, развернувшись плечом, между Йоаном и тем, что горело, будто хотел собой закрыть чужой дом, чужую беду, будто это могло чему-то помочь. В кулаке у него были зажаты вилы, подобранные где-то на бегу. Костяшки побелели. Мальчишка тринадцати лет держал крестьянский инструмент так, словно от этого зависело, останется ли мир на месте, — и, может быть, в ту минуту для него и правда зависело.

Он долго молчал. Потом сказал:

— Не смотри.

Голос дал петуха — сорвался на последнем слоге, тонко, по-детски. И Никиас разозлился на себя за это сильнее, чем на демонов, потому что демоны были далеко и непонятны, а собственный предательский голос — вот он, здесь, и выдавал всё, что Никиас из всех сил пытался не показывать.

— Это моя мать, — сказал Йоан.

Ровно. Пусто. Так называют предмет, а не оплакивают человека.

— Я имею право смотреть.

Никиас не нашёл, что ответить. Он открыл рот, закрыл. За всю свою короткую жизнь он привык, что на всё есть правильный ответ, если хорошенько поискать: у наставников, в молитвах, в том, как надо и как не надо. Сейчас правильного ответа не было. Ни одного. И эта пустота на месте, где всегда был ответ, испугала его сильнее, чем тьма, сходящая с неба, — потому что с тьмой хотя бы понятно было, что делать. А с этим — нет.

Они стояли рядом, двое мальчишек, и горящая деревня бросала на их лица одинаковый рыжий свет.

Ласло в это время воровал.

Руки знали, что делать, когда голова отказывалась. Пальцы двигались быстро, привычно, отдельно от него: свечи — за пазуху, огниво — в кулак, моток бечёвки — на локоть, нож с хорошей костяной рукоятью — за пояс. Хороший нож. Он отметил это машинально, как отмечал всё ценное, — и

эта холодная деловитость посреди гибнущей деревни была, если б он тогда умел о таком думать, страшнее любого пожара. Мир рушился. Ласло инвентаризировал.

Броша он нашёл под прилавком.

Лавочник был ещё жив — наполовину. Демон вспорол ему живот когтем, походя, не останавливаясь, как срезают ветку с дороги, мешающую пройти. Крови было меньше, чем Ласло ждал, — и это оказалось хуже, чем если бы её было много; она не хлестала, а тихо, обильно натекала под тело тёмной лужей, и в свете пожара блестела почти чёрным. Брош лежал на боку, поджав колени, как спящий ребёнок, и держал руками то, что нельзя держать руками, — бережно, будто боялся расплескать. Он смотрел на Ласло снизу вверх. Глаза у него были ясные.

Губы Броша шевелились. Ласло наклонился — не сразу, преодолевая что-то в себе, — и разобрал.

— Воды, — шептал лавочник. — Мальчик. Воды.

У Ласло была вода.

Полбурдюка, стянутого с чьего-то седла час назад, ещё до всего, — он и сам не помнил зачем, просто взял, потому что плохо лежало. Бурдюк висел у него на боку, и Брош, кажется, видел его, потому что глаза его на миг скользнули вниз, к бедру Ласло, и снова поднялись к лицу. Просяще. Терпеливо. Так, как просят у того, от кого уже ничего не ждут, но всё равно просят, потому что больше не у кого.

Он не дал.

Может, испугался, что вода понадобится ему самому. Может, испугался, что стоит наклониться, задержаться, впустить в себя чужую беду — и когти, ещё где-то рядом в дыму, найдут и его тоже. А может, дело было проще и хуже: в тот миг в нём было слишком мало человека и слишком много зверя, а зверь не поит умирающих, зверь бежит. Он так и не выбрал между этими тремя. Оставил все три лежать рядом, неразобранными, и просто ушёл.

Он выпрямился. Сунул нож поглубже за пояс, поправил свечи за пазухой. И ушёл, не оборачиваясь, — ровным шагом, не бегом, потому что бегущий привлекает внимание, а Ласло даже сейчас, даже мальчишкой, это откуда-то знал.

За спиной шёпот стих. Он не обернулся проверить

С этой ночи Ласло начал очень много говорить.

Паладины пришли, когда жечь было уже почти нечего.

В песнях это назовут спасением. В ту ночь это выглядело как очищение. Серебряный клин латников вошёл в деревню с верхнего края улицы — не спеша, сомкнутым строем, отбрасывая длинные тени в свете догорающих домов, — и двинулся вниз, добывая тварей деловито и без злобы, как бьют крыс в амбаре. Сталь у них была хорошая; она входила в демонью плоть с коротким, влажным, будничным звуком, повторявшимся снова и снова, пока он не стал привычным даже уху ребёнка. И с той же деловитостью, тем же ровным шагом, строй прошёл сквозь людей.

Кто выбегал из огня с воплем, того валили наземь и дер-

жали коленом, пока не убедятся, что это не одержимый, — а убедившись, отпускали и шли дальше, не подав руки. Одну женщину, которая не могла разжать руки на обугленном свёртке, ударили древком под лопатки, чтобы шла быстрее. Свёрток был мёртв. Женщина — ещё нет. Для строя это не составляло разницы: и то и другое было помехой на пути, которую следовало убрать с дороги и забыть.

Командир шёл последним — так ходят те, кому не нужно спешить, потому что за них спешат другие. Широкоплечий рыцарь в закопчённом серебре, с боевым молотом на плече, с которого ещё сползала, дымясь, чёрная кровь и капала на землю мелкими шипящими каплями. Он остановился перед троими у сгоревшего дома. Не спросил имён. Не спросил, чьи это тела лежат кругом и почему трое детей стоят над ними, не плача. Он окинул их одним взглядом — быстрым, цепким, снизу вверх и обратно, — тем взглядом, каким барышник на осеннем торгу оценивает жеребят.

— Родители? — бросил он.

Молчание. Ни один из троих не ответил. Отвечать было нечего — и, каждый по-своему, они это уже понимали.

— Хорошо, — сказал он.

И это «хорошо» вьелось Йоану в память глубже, чем горящий подол. Он не сразу понял, что в этом слове было такого, отчего внутри стало ещё холоднее, чем от пожара. Сирота — чистый материал. И командир радовался не спасённым детям. Он радовался хорошему материалу.

— Этот крепкий. — Молот качнулся в сторону Никиаса, всё ещё сжимавшего вилы побелевшими пальцами. — Этот языкастый, пригодится. — Обух указал на Ласло, который уже успел собраться, стереть с лица зверя и нацепить кри-вую, готовую понравиться улыбку. Молот двинулся дальше — и остановился. На Йоане. На заострённых кончиках ушей, торчащих из-под слипшихся волос. На пустых, сухих глазах.

— А это что?

— Полукровка, — сказал кто-то из строя. Тихо, не с ненавистью даже, а с брезгливостью, с какой называют не человека, а породу.

Командир смотрел на Йоана долгую секунду. Молчал. И Йоан, сам того не зная, стоял на весах: в этой секунде решалось, повезут ли его к белым стенам вместе с остальными или оставят здесь, у колодца, — из милосердия ли, из брезгливости, всё едино. Он не отвёл взгляда. Не из смелости — сил на страх уже не осталось. Он просто смотрел в закопчённое чужое лицо и ждал, что оно решит, как ждут погоды.

— Свет не выбирает сосуд, — проговорил наконец рыцарь. Ровно, наизусть, будто цитируя устав, которому сам не очень-то верил, но который избавлял от необходимости думать. — Всех троих. В Аркхейм.

Их подняли, как поднимают мешки, которые нельзя ни бросить, ни повредить. Йоан в последний раз оглянулся через плечо на синий подол и белую ступню; потом стена латника заслонила их, и больше он матери не видел. У Никиа-

са вилы отобрали уже в повозке — он не отдавал, вцепился, и латник не стал бить, просто молча, буднично разжал ему пальцы, один за другим, как разгибают детскую руку над отнятой игрушкой. Ласло, зажатый между двумя воинами, всё улыбался — и сквозь улыбку, поверх чужих плеч, уже прикидывал: что в этой новой беде можно будет добыть, у кого, и как из неё выжить.

Повозка скрипела. Колёса вязли в грязи и выдирались с чмоканьем. Над лесом занимался серый, без единого проблеска рассвет.

Стены Аркхейма были из белого камня.

Всем троим они показались серыми.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.